

ГУСТАВ МАЙРИНК

ГОЛЕМ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КЛАССИКА (АСТ)

Густав Майринк

Голем

«Public Domain»

1914

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Авс)-44

Майринк Г.

Голем / Г. Майринк — «Public Domain», 1914 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-104819-8

«Голем» — первый роман Майринка, имевший невероятный успех и принесший автору мировую славу. Произведение, в котором впервые появились образы и нашли отражение темы, впоследствии сопровождавшие Майринка всю жизнь, — образ лунного света и таинственной «стены у последнего фонаря», темы сна, видения и двойничества. Главный герой видит удивительный сон, в котором проживает целую жизнь своего двойника — антиквара Атанасиуса Перната. А может, сам Пернат — не более чем человеческое воплощение персонажа одной из самых странных и загадочных легенд — глиняного Голема? Да и важно ли это, если, в сущности, вся наша жизнь — не более чем сон длиной в десятилетия, а истинная жизнь начинается лишь там, за гранью лунного света, где люди и вещи — не то, чем кажутся...

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Авс)-44

ISBN 978-5-17-104819-8

© Майринк Г., 1914
© Public Domain, 1914

Содержание

I. Сон	5
II. День	7
III. «I»	11
IV. Прага	15
V. Пунш	22
VI. Ночь	30
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Густав Майринк

Голем

I. Сон

Лунный свет падает на край моей постели и лежит там большою сияющею плоскою плитою.

Когда лик полной луны начинает ущербляться и правая его сторона идет на убыль – точно лицо, приближающееся к старости, сперва покрывается морщинами и начинает худеть, – в такие часы мной овладевает тяжелое и мучительное беспокойство.

Я не сплю и не бодрствую, и в полусне в моем сознании смешивается пережитое с прочитанным и слышанным, словно стекаются струи разной окраски и ясности.

Перед сном я читал о жизни Будды Готама, и теперь на тысячу ладов проносятся в моем сознании, постоянно возвращаясь к началу, следующие слова:

«Ворона слетела к камню, который походил на кусок сала, и думала: здесь что-то вкусное. Но не найдя ничего вкусного, она отлетела прочь. Подобно вороне, спустившейся к камню, покидаем мы – ищущие – аскета Готаму, потеряв вкус к нему».

И образ камня, походившего на кусок сала, вырастает в моем мозгу невероятно.

Я ступаю по руслу высохшей реки и собираю гладкие камешки.

Серо-синие камни с выкрапленной поблескивающей пылью, над которыми я размышляю и размышляю и все-таки не знаю, что с ними предпринять, – затем черные, с желтыми, как сера, пятнами, как окаменевшие попытки ребенка вылепить грубую пятнистую ящерицу.

И мне хочется отбросить их далеко от себя, эти камешки, но они выпадают все у меня из рук, из поля зрения моего не могу их прогнать.

Все камни, которые когда-либо играли роль в моей жизни, встают и обступают меня.

Одни, как крупные, аспидного цвета крабы, перед возвращающимся приливом, напрягая силы, стараются выкарабкаться из песка на свет, всячески стремятся обратить на себя мой взор, чтобы поведать мне о чем-то бесконечно важном.

Другие, истощенные, бессильно падают назад, в свои ямы, и отказываются когда-либо что-нибудь сказать.

Время от времени я выхожу из сумерек этого полусна и на мгновение вижу снова на выпученном краю моего одеяла лунный свет, лежащий большою сияющей плоскою плитою, чтобы затем в закоулках вновь ускользящего сознания беспокойно искать мучающий меня камень, что где-то, в отбросах моего воспоминания, лежит, похожий на кусок сала.

Возле него на земле, вероятно, когда-то помещалась водосточная труба – рисую я себе, – загнутая под тупым углом, с краями, изъеденными ржавчиной, и упорно я стараюсь разбудить в своем сознании такой образ, который обманул бы мои вспугнутые мысли и убаюкал бы их.

Это мне не удается.

Все снова и снова, с бессмысленным упорством, неутомимо, как ставень, которым ветер через равные промежутки времени бьет в стену, твердит во мне упрямый голос: это совсем не то, это вовсе не тот камень, который похож на кусок сала.

От этого голоса не отделаться.

Хоть бы сто раз я доказывал себе, что это совершенно не важно, он умолкает на одно мгновенье, потом опять незаметно просыпается и настойчиво начинает сызнова: хорошо, хорошо, пусть так, но это все же не камень, похожий на кусок сала.

Постепенно мною овладевает невыносимое чувство полной беспомощности.

Что дальше произошло, не знаю. Добровольно ли я отказался от всякого сопротивления, или они – мои мысли – меня одолели и покорили.

Знаю только, что мое тело лежит спящим в постели, а мое сознание отделилось от него и больше с ним не связано.

«Кто же теперь мое «Я»?» – хочется вдруг спросить, но тут я соображаю, что у меня нет больше органа, посредством которого я мог бы вопрошать, и я начинаю бояться, что глупый голос снова проснется во мне и снова начнет бесконечный допрос о камне и сале.

И я отмахиваюсь от всего.

II. День

Я стоял в темном дворе и сквозь красную арку ворот видел на противоположной стороне узкой и грязной улицы старьевщика-еврея, прислонившегося к лавчонке, увешанной старым железным хламом, сломанными инструментами, ржавыми стременами и коньками, равно как и множеством других отслуживших вещей.

Эта картина заключала в себе мучительное однообразие ежедневных впечатлений, врывающихся, как уличные торговцы, через порог нашего восприятия, и не возбуждала во мне ни любопытства, ни удивления.

Я сознавал, что в этой обстановке я уже давно дома.

Но и это сознание не возбудило во мне глубоких чувств, хотя шло вразрез с тем, что я так недавно пережил, и с тем, каким образом я дошел до настоящего состояния.

Я, должно быть, когда-то слышал или читал странное сравнение камня с кусочком сала. Оно пришло мне на ум в то время, как я поднимался к себе в комнату по истоптанным ступенькам и мельком подумал о засаленном и каменном пороге.

Тут я услышал впереди себя чьи-то шаги, и когда я подошел к своей двери, увидел, что это была четырнадцатилетняя рыжая Розина, дочь старьевщика Аарона Вассертрума.

Я должен был вплотную протесниться около нее; она стояла спиной к перилам, похотливо откинувшись назад.

Она положила свои грязные руки на железные перила, чтоб держаться, и в тусклом полумраке я заметил ее светящиеся обнаженные руки.

Я уклонился от ее взгляда.

Мне противна была ее навязчивая улыбка и это восковое лицо карусельной лошадки.

У нее, должно быть, рыхлое белое тело, как у тритона, которого я недавно видел в клетке с ящерицами у одного продавца птиц, – так почувствовал я.

Ресницы рыжих противны мне, как кроличьи.

Я взбежал и быстро захлопнул за собою дверь.

Из своего окна я мог наблюдать старьевщика Аарона Вассертрума у его лотка.

Он стоял, прислонившись к выступу темной арки, и стриг себе ногти.

Дочь или племянница ему рыжая Розина? У него никакого сходства с ней.

Среди еврейских лиц, которые ежедневно попадают на Петушьей улице, я ясно различаю несколько пород; несмотря на близкое родство отдельных индивидуумов, их так же трудно смешать между собой, как масло с водой. Здесь не приходится говорить: это – братья, или это – отец и сын.

Этот принадлежит к одной породе, тот – к другой, – вот все, что можно прочесть на лицах.

Что же из того, если бы Розина и была похожа на старьевщика.

Эти породы питают друг к другу тайное отвращение и неприязнь, прорывающиеся даже сквозь стены узкого кровного родства, но они скрывают это от внешнего мира, как опасную тайну.

Ни один не выдает себя, и в этом единодушии все похожи на озлобленных слепцов, что бредут, держась за грязную веревку – кто обеими руками, кто одним пальцем, но все с суеверным ужасом перед бездной, в которую каждый должен упасть, как только исчезнет общая поддержка и люди потеряют друг друга.

Розина – из той породы, рыжий тип которой еще отвратительнее других. Принадлежащие к этой породе мужчины узкогруды, с длинной шеей и выступающим кадыком.

Они кажутся целиком покрытыми веснушками, они несут всю жизнь тяжелые муки – эти мужчины – и тайно ведут непрерывную и безрезультатную борьбу со своей похотью, в постоянном отвратительном страхе за свое здоровье.

Мне было неясно, почему, собственно, я подумал, что Розина родственница старьевщика Вассертрума.

Ведь никогда же я не видел ее рядом со стариком, никогда не замечал, чтоб один из них окликнул другого.

Почти всегда она была на нашем дворе или же пробиралась по темным уголкам и проходам нашего дома.

Я уверен, что все жильцы моего дома считали ее близкой родственницей или, по меньшей мере, воспитанницей старьевщика, и тем не менее я не сомневаюсь, что ни один из них не привел бы оснований для своего предположения.

Я хотел отвлечь мысли от Розины и взглянул в раскрытое окно комнаты на Петушью улицу, и вдруг, точно почувствовав мой взгляд, Аарон Вассертрум повернул лицо в мою сторону.

Отвратительное неподвижное лицо, с круглыми рыбьими глазами и с отвислой заячьей губой.

Он показался мне пауком среди людей, тонко чувствующим всякое прикосновение к паутине, при всей своей кажущейся безучастности.

Чем он живет? Что думает, чем занимается?

Я не знал.

На каменных выступах его лавчонки изо дня в день, из года в год висят все те же мертвые, бесполезные вещи.

Я мог бы их представить себе даже с закрытыми глазами: тут согнувшаяся жестяная труба без клапанов, тут пожелтевшая картинка со странно расположенными солдатами, там связка заржавевших шпор на потертом кожаном ремешке и всякий прочий полуистлевший хлам.

А спереди земля так густо уставлена рядом железных сковород, что невозможно переступить через порог лавчонки.

Эти вещи не убывали и не возрастали в числе. Если какой-нибудь прохожий все же останавливался и осведомлялся о цене того или иного предмета, старьевщик впадал в жесточайшее возбуждение.

Он ужасно выпячивал тогда свою заячью губу, лепетал что-то невразумительное своим клокочущим прерывистым басом, так что у покупателя отбивало всякую охоту спрашивать дальше, и, испуганный, он проходил мимо.

Взгляд Аарона Вассертрума с быстротой молнии отпрянул от меня и с напряженным интересом остановился на голой стене соседнего с моим окном дома.

Что он мог там увидеть?

Дом стоит спиной к Петушьей улице, и окна его выходят во двор. Только одно на улицу.

Случайно в этот момент в квартиру, расположенную рядом с моей, в том же этаже – по-видимому, это угловое ателье, – вошли люди: через стену я вдруг услышал голоса – мужской и женский.

Но не может быть, чтобы старьевщик заметил это снизу.

У моей двери показался кто-то, и я догадался, что это все еще Розина, которая стоит в темноте, в похотливом ожидании, что, может быть, я ее все-таки позову.

Внизу же, на пол-этажа ниже, на ступеньках, прыщеватый, полувзрослый Лойза, затаив дыхание, караулит, не открою ли я дверь, и я буквально чувствую дыхание его ненависти и его бурлящую ревность.

Он боится подойти ближе, чтоб Розина не заметила его. Он знает, что зависит от нее, как голодный волк от своего сторожа. Но как охотно он вскочил бы и в беспамятстве дал бы выход своей ярости!

Я присел к письменному столу и взялся за свои клещи и резцы.

Но я ничего не мог сделать, моя рука не была достаточно спокойна, чтоб исправить тонкую японскую резьбу.

Темная, мрачная жизнь, которая висит над этим домом, не дает мне покою, и все время встают во мне старые картины.

Лойза и его брат – близнец Яромир – вряд ли старше Розины, разве на один год.

Их отца, который был просвирником, я с трудом припоминаю; теперь заботится о них, кажется, какая-то старуха.

Я только не знаю, какая именно из множества старух, живущих здесь, как кроты, в своих норах.

Она опекает обоих мальчиков – это значит: она дает им приют, за что те отдают ей все, что им удастся украсть или выпросить.

Кормит ли она их? Не думаю, потому что старуха приходит домой поздно вечером.

Она, должно быть, убирает покойников.

Лойзу, Яромира и Розину я видывал часто, когда они еще детьми беспечно играли на дворе.

Но это время давно уже прошло.

По целым дням теперь Лойза увивается за рыжеволосой девочкой.

Иногда он подолгу тщетно ищет ее и, нигде не находя, прокрадывается к моей двери и с искаженным лицом ждет, не придет ли она сюда тайком.

И, сидя за работой, я вижу, как он привидением бродит по извилистым переходам и прислушивается, изгибая голову на изможденной шее.

Порою пререзывает тишину внезапный дикий шум.

Глухонемой Яромир, все думы которого наполнены страстной и неослабевающей мечтой о Розине, диким зверем блуждает по дому, и нечленораздельный воющий лай, который он издает, обезумев от ревности и подозрений, звучит так жутко, что стынет кровь в жилах.

В слепом бешенстве он рыщет, надеясь отыскать их вместе в одном из тысячи грязных закоулков. Его влечет стремление всегда следовать за братом по пятам, чтоб ничего не случилось с Розиной без его ведома.

И именно эти беспрестанные муки калеки кажутся мне обстоятельством, побуждающим Розину постоянно путаться с другим.

Как только ее склонность или податливость ослабевают, Лойза изобретает все новые гадо-сти, чтоб снова распалить жадность Розины.

Они нарочно, как бы нечаянно, дают глухонемому застичь их, коварно заманивают безумного в темные коридоры и там из заржавевших обручей, ударяющих, если на них наступить, и из железных грабель, лежащих остриями кверху, устраивают злые ловушки, в которые тот падает и разбивается в кровь.

Время от времени Розина самостоятельно выдумывает какой-нибудь адский план, чтобы довести мучения Яромира до последней степени.

Она внезапно меняет свое отношение к нему и делает вид, что он вдруг понравился ей.

С ее постоянной улыбкой она поспешно сообщает калекке такие вещи, которые приводят его почти в безумное неистовство; у нее есть для таких случаев таинственный с виду и полупонятный язык знаков; последний, неизбежно, опутывает глухонемого сетью неизвестности и гложущих надежд.

Однажды я видел, как она стояла перед ним во дворе и что-то говорила ему такими оживленными движениями губ и жестами, что, казалось, вот-вот он упадет в диком исступлении.

По лицу его струился пот от сверхчеловеческого усилия схватить смысл намеренно неясного, спешного сообщения.

Весь последующий день он в лихорадочном ожидании бродил по темным лестницам другого полуразрушенного дома, расположенного дальше по узкой и грязной Петушьей улице. Он даже упустил время выпросить на углу пару крейцеров.

И когда поздно вечером, полумертвый от голода и возбуждения, он хотел войти домой, его приемная мать давно уже закрыла дверь.

Веселый женский смех донесся ко мне через стену из соседнего ателье.

Смех. В этих домах веселый смех. Во всем гетто нет ни одного человека, который умел бы весело смеяться.

Тут я вспомнил, что рассказывал мне на днях старый хозяин марионеточного театра Цвак: молодой богатый господин снял у него это ателье за дорогую плату, очевидно, для того, чтобы без помехи встречаться с избранницей сердца.

Надо было постепенно по ночам, одну вещь за другой, перенести туда, наверх, дорогую мебель нового жильца, так, чтобы никто в доме не заметил этого.

Добродушный старик потирал руки от удовольствия, рассказывая мне об этом, и, как ребенок, радовался, что ему удалось все ловко обставить: никто из жильцов не мог иметь и представления о романтической парочке.

Проникнуть в ателье можно было из трех домов. Даже через подъемную дверь имелся проход!

Да, если поднять железную дверь чердака, а это было оттуда очень легко, – можно было через мою комнату попасть на лестницу нашего дома и использовать ее как выход.

Снова доносится веселый смех, пробуждая во мне неясное воспоминание об одной роскошной квартире и об одном аристократическом семействе, куда меня часто приглашали для незначительного ремонта разных ценных старинных вещей.

Вдруг я слышу рядом пронзительный крик. Слушаю в испуге.

Железная дверь быстро поднялась, и через мгновение в мою комнату влетела дама.

С распушенными волосами, бледная, как стена, с наброшенной на голые плечи золотой бродячей материей.

– Майстер Пернат, спрячьте меня... ради бога!.. не спрашивайте, спрячьте меня.

Не успел я ответить, как дверь снова поднялась и быстро захлопнулась.

На одну секунду отвратительной маской оскалилось лицо старьевщика Аарона Вассертрума.

Круглое светлое пятно снова передо мной, и в лунных лучах я узнаю снова край моей постели.

Тяжелым, мягким покрывалом лежит еще на мне сон, и золотыми буквами в памяти моей блестит имя Пернат.

Где вычитал я это имя – Атанасиус Пернат?

Кажется мне, кажется, где-то давно-давно обменял я свою шляпу, и тогда удивляло меня, что новая шляпа была как раз по мне, хотя у меня совсем особенная форма головы.

Я заглянул в эту чужую шляпу тогда и – да, да, там на белой подкладке было написано золотыми бумажными буквами:

АТАНАСИУС ПЕРНАТ

Я боялся, мне было жутко от этой шляпы – я не знал, почему. Забытый мною голос, с забытым вопросом, где камень, похожий на сало, летит в меня, как стрела.

Быстро рисую я себе острый, слащаво улыбающийся профиль рыжей Розины, и мне удается таким образом избежать стрелы, которая теряется тотчас в темноте.

Да, лицо Розины. Оно еще сильнее, чем глухо звучащий голос, и теперь, когда я снова буду скрыт в моей комнате по Петушьей улице, я могу быть совершенно спокоен.

III. «I»

Если я не ошибся, что кто-то равномерным шагом подымается по лестнице, чтобы зайти ко мне, то он должен быть теперь приблизительно на последних ступенях.

Теперь он огибает угол, где находится квартира архивариуса Шемайи Гиллеля, и подходит к выступу площадки верхнего этажа, выложенной красным кирпичом.

Теперь он идет ощупью вдоль стены и в эту минуту должен с трудом в темноте разбирать мое имя на дверной доске.

Я встал посреди комнаты и смотрю на дверь.

Дверь открылась, и он вошел.

Он сделал несколько шагов по направлению ко мне, не сняв шляпы и не сказав мне ни слова приветия.

Так ведет он себя, когда он дома, почувствовал я, и я нашел вполне естественным, что он держит себя именно так, не иначе.

Он полез в карман и вытащил оттуда книгу.

Затем он долго перелистывал ее.

Переплет книги был металлический, и углубления в форме розеток и печатей были заполнены красками и маленькими камешками.

Наконец он нашел то место, которое искал, и указал на него пальцем.

Глава называлась «Ibbug» – «чреватость души», – расшифровал я.

Большое, золотом и киноварью выведенное заглавие «I» занимало почти половину страницы, которую я невольно пробежал, и было у края несколько повреждено.

Я должен был исправить это.

Заглавная буква была не наклеена на переплет, как я это до сих пор видал в старинных книгах, а скорее было похоже на то, что она состоит из двух тонких золотых пластинок, спаянных посередине и захватывающих концами края пергамента.

Значит, где была буква, должно быть отверстие в листе.

Если же это так, то на следующей странице должно было быть обратное изображение буквы «I»?

Я перевернул страницу и увидел, что предположение мое правильно. Невольно я прочитал и всю эту страницу, и следующую.

И стал читать дальше и дальше.

Книга говорила мне, как говорит сновидение, только яснее и значительно отчетливее. Она шевелилась в моем сердце, как вопрос.

Слова струились из невидимых уст, оживали и подходили ко мне. Они кружились и вихрились вокруг меня, как пестро одетые рабыни, уходили потом в землю или расплывались клубами дыма в воздухе, давая место следующим. Каждая надеялась, что я изберу ее и не посмотрю на следующую.

Некоторые из них выступали пышными павами в роскошных одеяниях, и поступь их была медленной и размеренной.

Другие, как королевы, но старые, отжившие, с подведенными веками, с выражением проститутки у губ и с морщинами, которые были покрыты отвратительными румянами.

Я провожал взглядом одних, встречал других, и мой взор скользил по длинному ряду серых существ, с лицами настолько обыкновенными и невыразительными, что казалось невозможным сохранить их в памяти.

Затем они притащили женщину, совершенно обнаженную и огромную, как медная статуя.

На одну секунду женщина остановилась и наклонилась передо мною.

Ее ресницы были такой величины, как все мое тело. Она молча указала на пульс ее левой руки.

Он бился, как землетрясение, и я чувствовал в ней жизнь целого мира.

Издалика выплывало шествие корибантов. Мужчина и женщина обнимали друг друга. Я видел их приближающимися издали, и все ближе подходила процессия.

Теперь я услышал звонкие и восторженные песни совсем возле меня, и мой взор искал обнявшейся пары.

Она обратилась, однако, в одну фигуру, и полумужчиной-полуженщиной Гермафродитом – сидела она на перламутровом троне.

И корона Гермафродита заканчивалась доской из красного дерева, на которой червь разрушения начертал таинственные руны.

Между тем, в облаке пыли с топотом вошло стадо маленьких слепых овечек: животных, которых погонял гигантский Гермафродит в своей свите, чтоб поддерживать жизнь пляшущих корибантов.

Иногда среди существ, струившихся из невиданных уст, появлялись выходцы из могил – с платками, закрывавшими лицо.

Они останавливались передо мной, внезапно роняли покрывала и голодным взглядом хищных зверей смотрели в мое сердце, так что ледящий ужас проникал до мозга костей, а кровь в жилах останавливалась, как поток, в который падают с неба обломки скал – внезапно и в самое русло.

Мимо промелькнула женщина. Лица ее я не видел, она отвернулась – на ней было покрывало из льющихся слез.

Маски неслись мимо с плясом и не обращали на меня внимания.

Только Пьеро задумчиво озирается на меня и возвращается назад. Вырастает передо мной, заглядывает в мое лицо, как в зеркало.

Он делает такие странные гримасы, взмахивает и двигает руками, то колеблясь, то молниеносно быстро, и мной овладевает неборимое стремление подражать ему: мигать глазами, как он, дергать плечами и стягивать углы губ, как он.

Но тут толпящиеся за ним существа, желая попасть в поле моего зрения, нетерпеливо отталкивают его.

Но все они не имеют плоти.

Они – скользящие жемчужины на шелковом шнуре, отдельные тона мелодии, льющейся из невидимых уст.

Это уже больше не книга со мной говорила. Это был голос. Голос, который чего-то хотел от меня, чего я не понимал, как ни старался я. Он мучил меня жгучими непонятными вопросами.

Но голос, произносивший эти видимые слова, умер без отзвука. Каждый звук, который раздается в мире настоящего, порождает много откликов, как каждая вещь бросает одну большую тень и много маленьких; но эти голоса были без всякого эхо – они давным-давно отзвучали и развеялись.

Я прочел книгу до конца и еще держал ее в руках, и казалось мне, что я в поисках чего-то перелистывал свои мозги, а вовсе не книгу.

Все, что сказал мне голос, я нес в себе всю жизнь, но скрыто было все это, забыто, где-то было запрятано от моей мысли до сегодняшнего дня.

Я оглянулся.

Где человек, который принес мне книгу?

Ушел!

Он придет за ней, когда она будет готова?

Или я должен отнести ему?

Но не припомню, сказал ли он, где он живет.

Я хотел воскресить в памяти его фигуру, но мне это не удавалось.

Как он был одет? Стар он был или молод? Какого цвета были его волосы, борода?

Ничего, решительно ничего я не мог себе теперь представить. Всякий образ, который я себе рисовал, неудержимо распадался прежде, чем я мог сложить его в моем воображении.

Я закрыл глаза, придавил пальцами веки, чтоб поймать хоть малейшую черточку его облика.

Ничего, ничего.

Я стал посреди комнаты и смотрел на дверь; как прежде, когда он пришел, я рисовал себе: теперь он огибает угол, проходит по кирпичной площадке, теперь читает мою дощечку на двери «Атанасиус Пернат», теперь входит...

Напрасно.

Ни малейшего следа воспоминания о том, каково было его лицо, не вставало во мне.

Я увидел книгу на столе и хотел себе представить его руку, как он ее вынул из кармана и протянул мне.

Я не мог представить себе ничего: была ли она в перчатке или нет, молодая или морщинистая, были на ней кольца или нет.

Здесь мне пришла в голову странная вещь.

Точно внушение, которому нельзя противиться.

Я набросил на себя пальто, надел шляпу, вышел в коридор, спустился с лестницы. Затем я медленно вернулся в комнату.

Медленно, совсем медленно, как он, когда он пришел. И когда я открыл дверь, я увидел, что в моей комнате темно. Разве не ясный день был только что, когда я выходил?

Долго же, по-видимому, я раздумывал, что даже не заметил, как уже поздно.

И я пытался подражать незнакомцу в походке, в выражении лица, но не мог ничего припомнить.

Да и как бы я мог подражать ему, когда у меня не было никакого опорного пункта, чтобы представить себе, какой он имел вид.

Но случилось иначе. Совсем иначе, чем я думал.

Моя кожа, мои мускулы, мое тело внезапно вспомнили, не спрашивая мозга. Они делали движения, которых я не желал и не предполагал делать.

Как будто члены мои больше не принадлежали мне.

Едва я сделал два шага по комнате, моя походка сразу стала тяжелой и чужой. Это походка человека, который постоянно находится в положении падающего.

Да, да, да, такова была его походка!

Я знал совершенно точно: это он.

У меня было чужое безбородое лицо с выдающимися скулами и косыми глазами.

Я чувствовал это, но не мог увидеть себя.

«Это не мое лицо», – хотел я в ужасе закричать, хотел его ощупать, но рука не слушалась меня, она опустилась в карман и вытащила книгу.

Точно так же, как он это раньше сделал.

И вдруг я снова сижу без шляпы, без пальто, у стола, и я опять я. Я, я, Атанасиус Пернат.

Я трясся от ужаса и испуга, сердце мое было готово разорваться, и я чувствовал: пальцы призрака, которые только что еще копошились в моем мозгу, отстали от меня.

Я еще осязал на затылке холодное прикосновение их.

Теперь я знал, каков был незнакомец, я мог снова чувствовать его в себе, каждое мгновение, как только я хотел, но представить себе его облик, видеть его лицом к лицу – это все еще не удавалось мне и никогда не удастся.

Он, как негатив, незримая форма, понял я, очертаний которой я не могу схватить, в которую я сам должен внедриться, если только я захочу осознать в собственном «я» ее облик и выражение.

В ящике моего стола стояла железная шкатулка – туда я хотел спрятать книгу, чтобы только, когда пройдет у меня состояние душевной болезни, извлечь ее и заняться исправлением попорченной заглавной буквы «I».

И я взял книгу со стола.

Но у меня было такое чувство, как будто я ее не коснулся; я схватил шкатулку – то же ощущение. Как будто чувство осязания должно было пробежать длинное-длинное расстояние в совершенной темноте, чтобы войти в мое сознание. Как будто предметы были удалены от меня на расстояние годов и принадлежали прошлому, которое мною давно изжито!

Голос, который, кружась в темноте, ищет меня, чтобы помучить меня соляным камнем, исчез, не видя меня. И я знаю, что он приходит из царства сна. Но то, что я пережил, – это была подлинная жизнь – поэтому голос этот не мог меня видеть и напрасно стремится ко мне, чувствую я.

IV. Прага

Возле меня стоял студент Харусек с поднятым воротником своего тонкого и потертого пальто, и я слышал, как у него стучали зубы от холода.

«Он может до смерти простудиться на этом сквозняке под аркой ворот», – подумал я и предложил ему перейти через улицу в мою квартиру.

Но он отказался.

– Благодарю вас, мастер Пернат, – прошептал он дрожа, – к сожалению, я не располагаю временем, я должен спешить в город. Да мы к тому же промокнем до костей, если выйдем на улицу. Даже за несколько шагов! Ливень не думает ослабевать!

Потоки воды стекали с крыш и бежали по лицам домов, как ручьи слез.

Подняв немного голову, я мог видеть в четвертом этаже мое окно; сквозь дождь его стекла казались мягкими, непрозрачными и бугристыми.

Желтый грязный ручей бежал вдоль улицы, и арка ворот наполнилась прохожими, которые все хотели переждать непогоду.

– Вот плывет подвенечный букет, – вдруг произнес Харусек, указывая на пучок увядших миртов, проплывший в грязной канаве.

Кто-то позади нас громко рассмеялся этому.

Я обернулся и увидел, что это был старый, хорошо одетый господин с седыми волосами и с надутым лягушечьим лицом.

Харусек тоже бросил взгляд назад и что-то пробурчал.

Что-то неприятное было в старике; я отвернулся от него и смотрел на бесцветные дома, которые жались передо мной друг к другу, как старые обозленные под дождем животные.

Как неуютно и убого смотрели они.

Они казались построенными без всякой цели, точно сорная трава, пробивающаяся из земли.

К низкой, желтой каменной стене, единственному уцелевшему остатку старого длинного здания, прислонили их два-три столетия тому назад как попало, не принимая в соображение соседних построек. Тут кривобокий дом с отступающим назад челом; рядом другой, выступающий, точно клык.

Под мутным небом они смотрят, как во сне, и когда мрак осенних вечеров висит над улицей и помогает им скрыть едва заметную тихую игру их физиономий, тогда не видно и следа той предательской и враждебной жизни, что порою излучают они.

За годы жизни, которую я провел здесь, во мне сложилось твердое, неизгладимое впечатление, что для них существуют определенные часы ночи и утренних сумерек, когда они возбужденно ведут между собою тихие таинственные совещания. И порою сквозь их стены пробегает слабый неизъяснимый трепет, бегут шумы по их крышам, падают вещи по водосточным трубам – и мы небрежно и тупо воспринимаем их, не доискиваясь причин.

Часто грезилось мне, что я прислушиваюсь к призрачной жизни этих домов, и с жутким удивлением я узнавал при этом, что они – тайные и настоящие хозяева улицы, что они могут отдать или снова вобрать в себя ее жизнь и чувства – дать их на день обитателям, которые живут здесь, чтобы в ближайшую ночь снова потребовать обратно с ростовщическими процентами.

И когда я пропускаю сквозь свое сознание этих странных людей, живущих здесь, как тени, как существа, не рожденные матерями, кажущиеся состряпанными в своих мыслях и поступках как попало, представляющих какую-то крошку, я особенно склоняюсь к мысли, что такие сновидения заключают в себе таинственные истины, которые наяву рассеиваются во мне, как впечатления красочных сказок.

Тогда во мне оживает загадочная легенда о призрачном Големе, искусственном человеке, которого однажды здесь, в гетто, создал из стихий один опытный в Каббале раввин, призвал к безрассудному автоматическому бытию, засунув ему в зубы магическую тетраграмму.

И думается мне, что, как тот Голем оказался глиняным чурбаном в ту же секунду, как таинственные буквы жизни были вынуты из его рта, так и все эти люди должны мгновенно лишиться души, стоит только потушить в их мозгу – у одного какое-нибудь незначительное стремление, второстепенное желание, может быть, бессмысленную привычку, у другого – просто смутное ожидание чего-то совершенно неопределенного, неуловимого.

Какое неизменное испуганное страдание в этих созданиях!

Никогда не видно, чтоб они работали, эти люди, но тем не менее встают они рано, при первых проблесках утра, и, затаив дыхание, ждут – точно чуда, которое никогда не приходит.

И если уже случается, что кто-нибудь попадет в их владение, какой-нибудь безоружный, за счет которого они могли бы пожить, их вдруг сковывает страх, загоняет их обратно по своим углам и тушит в них всякое намеренье.

Нет существа достаточно слабого, чтоб у них хватило мужества поработить его.

– Выродившиеся беззубые хищники, у которых отнята сила и оружие, – медленно произнес, взглянув на меня, Харусек.

Как он мог угадать, о чем я думаю?

Иногда человек так напрягает свои мысли, почувствовал я, что они в состоянии перескочить, как искра, из одного мозга в другой.

– Чем они могут жить! – сказал я через минуту.

– Жить?.. Чем!.. Среди них имеются миллионеры!

Я взглянул на Харусека. Что хотел он этим сказать!

Но студент молчал и смотрел на облака.

На секунду шум голосов под аркой смолк, и явственно слышался стук дождя.

Что хотел он этим сказать: «Есть среди них миллионеры!»?

Опять случилось так, точно Харусек угадал мои мысли.

Он указал на лоток возле нас, у которого вода коричнево-красными струями омывала ржавую железную рухлядь.

– Аарон Вассертрум! Он, к примеру, – миллионер. Почти треть еврейского города принадлежит ему. Вы не знали этого, господин Пернат?

У меня захватило дыхание: «Аарон Вассертрум! Старьевщик Аарон Вассертрум – миллионер!»

– О, я знаю его хорошо, – раздраженно продолжал Харусек, как будто он только того и ждал, чтоб я спросил его, – я знал и его сына, доктора Вассори. Вы не слышали о нем? О докторе Вассори, знаменитом окулисте? Еще в прошлом году весь город оживленно говорил о нем как о великом ученом. Никто не знал тогда, что он переменял фамилию и прежде назывался Вассертрум. Он охотно разыгрывал ушедшего от мира человека науки, и когда однажды зашла речь о его происхождении, он скромно и взволнованно сказал, полусловами, что еще его отец происходил из гетто – что ему с самого начала приходилось пробиваться к свету со всевозможными огорчениями и невыразимыми заботами.

Да! С огорчениями и заботами.

Но с *чьими* огорчениями и заботами и какими средствами, этого он не сказал. А я знаю, при чем тут гетто.

Харусек схватил мою руку и потряс ее сильно.

– Майстер Пернат, я едва сам постигаю, как я беден. Я должен ходить полунагой, оборванцем, как видите, а я студент-медик, я образованный человек.

Он приоткрыл пальто, и я с ужасом увидел, что на нем не было ни пиджака, ни рубахи: пальто у него было на голом теле.

– И таким нищим я был уже тогда, когда привел к гибели эту бестию, этого всемогущего, знаменитого доктора Вассори, и до сих пор еще никто не подозревает, что именно я, только я – настоящий виновник происшедшего.

В городе думают, что это некий доктор Савиоли обнаружил все его проделки и довел его до самоубийства.

Доктор Савиоли был только моим орудием, говорю я вам! Я сам создал план, собрал все материалы, достал улики и тихо, незаметно вытаскивал камень за камнем из строения доктора Вассори, довел его до такого состояния, что никакие деньги в мире, никакая хитрость гетто не могли уже предотвратить катастрофы, для которой нужен был только едва ощутимый толчок.

Знаете, так... так, как играют в шахматы.

Точно так, как играют в шахматы.

И никто не знает, что это был я!

Старьевщику Аарону Вассертруму часто не дает спать жуткая мысль, что кто-то, кого он не знает, кто всегда находится рядом с ним, но кого он не может поймать, что этот кто-то, кроме доктора Савиоли, должен был сыграть роль в этом деле.

Хотя Вассертрум один из тех людей, чьи глаза способны видеть сквозь стены, но он все же не представляет себе, что есть такие люди, которые в состоянии вычислить, как длинной, невидимой, отравленной иглой можно сквозь стены, минуя камни, минуя золото, минуя бриллианты, попасть прямо в скрытую жилу жизни.

Харусек хлопнул себя по лбу и дико засмеялся.

– Аарон Вассертрум узнает это скоро, как раз в тот день, когда он захочет отомстить доктору Савиоли. Как раз в тот самый день!

И эту шахматную партию я рассчитал до последнего хода. На этот раз будет гамбит королевского слона. Вплоть до горького конца нет ни одного хода, на который я не умел бы гибелью ответить.

Кто вступит со мною в подобный гамбит, тот, говорю вам, висит в воздухе, как беззащитная марионетка на нитке – на ниточке, которую я дергаю, – слышите, которую я дергаю, у которой нет никакой свободы воли.

Студент говорил, как в бреду, и я с ужасом смотрел на него.

– Что вам сделали Вассертрум и его сын, что вы так полны ненависти?

Харусек резко перебил:

– Оставьте это, спросите лучше, как доктор Вассори сломал себе шею. Или вы предпочитаете в другой раз поговорить об этом? Дождь проходит – не хотите ли вы пойти домой?

Он понизил голос, как человек, который вдруг успокоился. Я покачал головой.

– Вы слышали когда-нибудь, как теперь лечат катаракт? Нет? Я должен вам это пояснить, майстер Пернат, чтобы вы все хорошо поняли.

Слушайте: катаракт – это злокачественное заболевание глаза, которое приводит к слепоте, и есть только одно средство предотвратить несчастье – так называемая иридоэктомия: она состоит в том, что из радужной оболочки глаза вырезают клиновидный кусочек.

Неизбежное следствие этого – сильное помутнение зрения, которое остается на всю жизнь, но процесс потери зрения удается большей частью приостановить. Однако диагноз катаракта имеет свои особенности.

Бывают периоды, особенно в начале болезни, когда ясные симптомы как будто исчезают, и в таких случаях врач, если он даже не находит никаких признаков болезни, все же не может сказать определенно, что его предшественник, державшийся другого мнения, непременно ошибся.

Но если эту самую иридоэктомию, которую можно одинаково проделать и над больным и над здоровым глазом, произвели, то уже нет никакой возможности твердо установить, был катаракт или нет.

Вот на этих и подобных обстоятельствах доктор Вассори построил свой гнусный план.

Бесконечное число раз, особенно у женщин, констатировал он катаракт там, где было самое безвредное ослабление зрения, для того чтобы произвести операцию, которая, не доставляя ему больших хлопот, приносила хорошие деньги.

Тут-то, наконец, имел он в руках совершенно беззащитных, тут-то для грабежа не требовалось даже и признака мужества.

Видите, мастер Пернат, здесь выродившийся хищник был поставлен в такие условия жизни, где без оружия и без усилий он мог терзать свою жертву.

Ничего не ставя на карту! Вы понимаете? Ничем не рискуя!

Путем целого ряда лживых сообщений в специальных журналах доктор Вассори мог создать себе славу выдающегося специалиста. Он знал, как пустить пыль в глаза даже своим коллегам, которые были слишком простодушны и благородны, чтобы распознать его.

Естественным следствием был поток пациентов, которые все искали у него помощи.

Стоило только прийти к нему кому-нибудь с ничтожным ослаблением зрения и дать осмотреть себя, как доктор Вассори с гнусной планомерностью брался за дело.

Сперва он устраивал обычный врачебный опрос, причем, чтобы на всякий случай потом все было скрыто, искусно отмечал те ответы, которые говорили за катаракт.

Он осторожно зондировал, не был ли раньше кем-либо поставлен диагноз.

В разговоре он вскользь замечал, что получил из-за границы настойчивое приглашение важного научного характера и завтра же должен ехать.

При исследовании глаза электрическим светом, которое он потом предпринимал, он намеренно причинял больному как можно больше боли.

Все преднамеренно! Все преднамеренно!

Когда исследование кончалось и пациент осторожно задавал обычный вопрос, есть ли основание опасаться чего-нибудь серьезного, доктор Вассори делал свой первый ход.

Он усаживал больного против себя, минуту молчал, потом размеренным и звучным голосом произносил:

«Слепота на оба глаза уже в самое ближайшее время совершенно неизбежна!»

Следовавшая за этим сцена бывала ужасна.

Часто люди падали в обморок, плакали, кричали, в диком отчаянии бросались на пол.

Потерять зрение – значит потерять все.

Затем снова наступал обычный момент, несчастная жертва обнимала колени доктора Вассори и, умоляя, спрашивала, неужели на божьем свете нет никакого средства помочь. Тогда bestия делала второй ход и сама обращалась в того бога, который призван помочь.

Все, все в мире, мастер Пернат, игра в шахматы!

Немедленная операция, говорил задумчиво доктор Вассори, – единственное, что, вероятно, может спасти. И с диким, жадным тщеславием, которое вдруг на него находило, он раздражался потоком красноречивых описаний разных случаев, из которых каждый имел изумительно много общего с настоящим – какое множество больных обязано ему одному сохранением зрения! И дальше в таком же роде.

Его опьяняло сознание, что его считают каким-то высшим существом, в руках которого находится счастье и горе людей.

Беспомощная жертва сидела с сердцем, полным жгучих вопросов, совершенно разбитая, в поту, и не решалась прервать его, страхась разгневать единственного, имеющего силу помочь.

И заявлением, что, к сожалению, он сможет приступить к операции только через несколько месяцев, когда он вернется из своей поездки, доктор Вассори кончал свою речь.

Надо надеяться – в таких случаях всегда надо надеяться на лучшее, – будет еще и тогда не поздно, говорил он.

Конечно, больной вскакивал в ужасе, говорил, что он ни в коем случае не хочет ждать ни одного дня, со слезами умолял порекомендовать другого окулиста, который мог бы произвести подобную операцию.

Здесь наступал момент, когда доктор Вассори наносил решительный удар.

Он ходил в глубоком раздумье по комнате, досадливо морщил свой лоб и, наконец, сокрушенно заявлял, что обратиться к *другому* врачу – значит непременно подвергнуть глаза вторичному освещению электрической лампой, а это из-за резкости лучей – пациент сам знает уже, как это болезненно, – может подействовать роковым образом.

Другому врачу, не говоря уже о том, что большинство из них не имеет достаточного опыта в иридопомии, придется прежде, чем приступить к хирургическому вмешательству, произвести новое исследование, но не иначе как спустя некоторое время, чтобы дать оправиться нервам глаз.

Харусек сжал кулаки.

– Это мы называем в шахматной игре вынужденным ходом, милый мастер Пернат. То, что дальше следует, опять вынужденный ход – один за другим.

Полубезумев от отчаяния, пациент начинает заклинять доктора Вассори сжалиться над ним, отложить поездку хотя бы на один день и лично сделать операцию. Ведь здесь идет речь больше чем о близкой смерти. Ужасный, мучительный страх каждое мгновение сознавать, что должен ослепнуть, – это ведь самое ужасное, что может быть на свете.

И чем больше изверг артачился и плакался, что отсрочка в его отъезде может принести ему неисчислимые убытки, тем большую сумму добровольно предлагал пациент.

Когда сумма казалась доктору Вассори достаточно высокой, он сдавался и непременно в тот же день, раньше, чем какой-нибудь случай мог бы расстроить его план, наносил обоим здоровым глазам несчастного непоправимый ущерб, вызывая постоянное чувство помутнения зрения, которое должно было обратить жизнь в непрерывную муку. Следы же преступления были раз и навсегда заметны.

Подобными операциями над здоровыми глазами доктор Вассори не только увеличивал свою славу выдающегося врача, умеющего приостановить грозящую слепоту, но одновременно удовлетворял свою безмерную страсть к деньгам и ублажал честолюбие, когда недогадливые, пострадавшие телом и деньгами жертвы смотрели на него как на благодетеля и называли спасителем.

Только человек, который всеми корнями всосался в гетто, в его бесчисленные, невидимые, но необоримые источники, который с детства выучился караулить, как паук, который знал в городе каждого, разгадывал до подробностей все взаимоотношения, материальное положение окружающих, только такой – полуюсновидящий, как можно было его назвать, мог из года в год совершать такие гнусности.

И не будь я, он до сих пор практиковал бы свое ремесло, практиковал бы до глубокой старости, чтобы, наконец, маститым патриархом в кругу близких, окруженным великими почестями, – блестящий пример для грядущих поколений – наслаждаться вечером жизни, пока, наконец, и его не взяла бы кондрашка.

Но я тоже вырос в гетто, кровь моя тоже пропитана атмосферой адской хитрости; вот почему я смог поставить ему западню, невидимо подготовить ему гибель, подобно молнии, ударившей с ясного неба.

Доктор Савиоли, молодой немецкий врач, приобрел славу разоблачителя – я его подсунул, подбирали улику к уличке, пока прокурор не наложил свою руку на доктора Вассори.

Но тут бестия прибегла к самоубийству! Да будет благословен этот час!

Точно мой двойник стоял возле него и водил его рукой – он лишил себя жизни при помощи того пузырька амилнитрита, который я нарочно при случае оставил в его кабинете, когда я принудил его поставить и мне фальшивый диагноз катаракта, – оставил нарочно, с пламенным желанием, чтоб именно этот амилнитрит нанес ему последний удар.

В городе говорили, что с ним случился удар.

Амилнитрит при вдыхании убивает, как удар. Однако долго такой слух не держался.

Харусек вдруг посмотрел вокруг бессмысленно, как будто потерявшись в разрешении глубочайшей проблемы, затем двинул плечом в ту сторону, где находился лоток Аарона Вассертрума.

– Теперь он один, – прошептал он, – совершенно один со своей страстью и – и – и – со своею восковой куклой!

Сердце билось во мне лихорадочно.

С испугом я взглянул на Харусека.

Он сошел с ума? Это, должно быть, бред заставляет его выдумывать такие вещи.

Безусловно, безусловно! Он все это выдумал, все это ему приснилось.

Не может быть, чтоб были правдой эти ужасы, рассказанные им про окулиста. У него чахотка, и в мозгу у него призраки смерти.

Я хотел успокоить его несколькими шутивными словами, сообщить его мыслям более дружественное направление.

Но не успел я подобрать слово, в голове моей, как молния, мелькнуло лицо Вассертрума с рассеченной верхней губой, заглянувшее тогда круглыми рыбьими глазами в мою комнату через поднятую дверь.

Доктор Савиоли! Доктор Савиоли? Да, да, это было имя молодого господина, сообщенное мне шепотом марионеточным актером Цваком, имя того самого богатого жильца, который снял у него ателье.

«Доктор Савиоли!» Точно криком раздалось это у меня внутри.

Целый ряд туманных картин пронесся через мою душу, с ужасными предположениями, овладевшими мною.

Я хотел спросить Харусека, в ужасе рассказать ему немедленно то, что я тогда пережил, но им овладел жестокий приступ кашля, едва не сбросивший его с ног. Я мог только наблюдать, как он, с трудом, держась рукой за стену, скрылся в дожде, кивнув мне головой небрежно на прощание.

Да, да, он прав, он не бредил, почувствовал я; непостижимый дух греха бродит по этим улицам днем и ночью и ищет воплощения.

Он висит в воздухе, но мы не видим его. Он вдруг внедряется в какую-нибудь человеческую душу – мы и не знаем этого – то тут, то там, – и прежде, чем мы можем опомниться, он уже теряет форму, и все исчезает.

И только смутные вести о каком-нибудь ужасном происшествии доходят до нас.

В одно мгновение я постиг эти загадочные существа, жившие вокруг меня, в их сокровенной сущности: они безвольно несутся сквозь бытие, оживляемые невидимым магнитным потоком – совсем так, как недавно проплыл в грязном дождевом потоке подвенечный букет.

У меня было такое чувство, будто все дома смотрели на меня своими предательскими лицами, исполненными беспредметной злобы. Ворота – раскрытые черные пасти, из которых вырваны языки, горла, которые ежесекундно могут испустить пронзительный крик, такой пронзительный и враждебный, что ужас проникнет до мозга костей.

Что же, в конце концов, сказал студент о старьевщике? Я шепотом повторил его слова: «Аарон Вассертрум теперь один со своей страстью – и со своей восковой куклой».

Что подразумевает он под восковой куклой?

Это должно быть какое-нибудь иносказание, успокаивал я себя, одна из тех болезненных метафор, которыми он обычно огорошивает, которых никто не понимает, но которые, неожиданно потом воскресая, могут испугать человека, как предмет очень необычной формы, если на него внезапно упадет поток яркого света.

Я глубоко вздохнул, чтобы успокоить себя и стряхнуть с себя то ужасное впечатление, которое произвел на меня рассказ Харусека.

Я стал всматриваться пристальнее в людей, стоявших рядом со мной в воротах. Рядом со мной стоял теперь толстый старик. Тот самый, который прежде так отвратительно смеялся.

На нем был черный сюртук и перчатки, он пристально смотрел выпученными глазами под арку ворот противоположного дома.

Его гладко выбритое широкое лицо с вульгарными чертами тряслось от волнения.

Я невольно следил за его взглядом и заметил, что он как заколдованный остановился на Розине, с обычной улыбкой на губах стоящей по ту сторону улицы.

Старик старался подать ей знак, и я видел, что она заметила это, но притворялась, что не понимает.

Наконец старик больше не выдержал; он на цыпочках перешел на ту сторону, как большой черный резиновый мяч, с забавной эластичностью походки.

Его, по-видимому, здесь знали, потому что с разных сторон я услышал замечания, относившиеся к нему. Сзади меня какой-то босяк, с красным вязаным платком на шее, в синей военной фуражке, с виргинией за ухом, оскалив зубы, сделал гримасу, смысла которой я не уразумел.

Я понял только, что в еврейском квартале старика называли «масоном»; на здешнем языке этим прозвищем награждали тех, кто связывался с девочками-подростками и в силу интимных отношений с полицией был свободен от каких бы то ни было взысканий.

Лица Розины и старика исчезли в темноте двора.

V. Пунш

Мы открыли окно, чтобы рассеялся табачный дым из моей комнатки.

Холодный ночной ветер ворвался в комнату, захватил висящее пальто и привел его в движение.

– Почтенный головной убор Прокопа хочет улететь, – сказал Цвак, указывая на большую шляпу музыканта, широкие поля которой колыхались, как черные крылья.

Иосуа Прокоп весело подмигнул.

– Он хочет, – сказал Прокоп, – он хочет, вероятно...

– Он хочет к Лойзичек на танцы, – вставил слово Фрисландер.

Прокоп рассмеялся и начал рукой отбивать такт к шуму зимнего ветра над крышей.

Затем он взял мою старую разбитую гитару со стены и, делая вид, что перебирает ее порванные струны, запел визгливым фальцетом прекрасную песенку на воровском жаргоне:

*An Beid-el von Eisen recht alt
An Stran-zen net gar a so kalt
Messining, a Raucherl und Rohn
Und immerrz nur putz-en...*

– Как он ловко овладел языком негодяев, – громко засмеялся Фрисландер и затем подхватил:

*Und stok-en sich Aufzug und Pfiff
Und schmahern an eisernes G'sueff iuch, —
Und Handschuhkren, Harom net san...*

– Эту забавную песенку распевает гнусавым голосом у Лойзичек каждый вечер помещанный Нафталий Шафранек в зеленых очках, а нарумяненная кукла играет на гармонике, визгливо подбрасывая ему слова, – объяснил мне Цвак. – Вы должны как-нибудь разок сходить с нами в тот кабачок, майстер Пернат. Может быть, погода, вот как покончим с пуншем, – что скажете? В честь вашего сегодняшнего дня рождения.

– Да, да, пойдёмте потом с нами, – подхватил Прокоп и захлопнул окно. – Есть на что посмотреть.

Затем мы принялись за горячий пунш и погрузились в размышления.

Фрисландер вытаскивал марионетку.

– Вы нас совершенно отрезали от внешнего мира, Иосуа, – нарушил молчание Цвак, – с тех пор, как вы закрыли окно, никто не произнес ни слова.

– Я думал о том, как раньше колыхалось пальто. Так странно, когда ветер играет безжизненными вещами, – быстро ответил Прокоп, как бы со своей стороны извиняясь за молчание. – Так необычно смотрят мертвые предметы, когда они вдруг начинают шевелиться. Разве нет?.. Однажды я видел, как на пустынной площади большие обрывки бумаги в диком остервенении кружились и гнали друг друга, точно сражаясь, тогда как я не чувствовал никакого ветра, будучи прикрыт домом. Через мгновение они как будто успокоились, но вдруг опять напало на них неистовое ожесточение, и они опять погнались в бессмысленной ярости, – забились все вместе за поворотом улицы, чтобы снова иступленно оторваться друг от друга и исчезнуть, наконец, за углом.

Только один толстый газетный лист не мог следовать за ними, он остался на мостовой, бился в неистовстве, задыхаясь и лова воздух.

Смутное подозрение явилось тогда у меня: что, если мы, живые существа, являемся чем-то очень похожим на эти бумажные обрывки? Разве не может быть, что невидимый, не постижимый «ветер» бросает и нас то туда, то сюда, определяя наши поступки, тогда как мы, в нашем простодушии, полагаем, что мы действуем по своей свободной воле?

Что, если жизнь в нас не что иное, как таинственный вихрь?! Тот самый ветер, о котором говорится в Библии: знаешь ли ты, откуда он приходит и куда он стремится?.. Разве не снится нам порою, что мы погружаемся в глубокую воду и ловим там серебряных рыбок – в действительности же всего только холодный ветерок дохнул нам на руку?

– Прокоп, вы говорите словами Перната. Что это с вами? – сказал Цвак и недоверчиво посмотрел на музыканта.

– Это история с книгой «Ibbug» так его настроила. Ее только что рассказывали (жаль, что вы так поздно пришли и не слышали ее), – сказал Фрисландер.

– История с книгой?

– Собственно, про человека, который принес книгу и имел странный вид. Пернат не знает ни как этого человека зовут, ни где он живет, ни чего он хочет; и хотя вид у него был необычайный, его никак нельзя описать.

Цвак насторожился.

– Это чрезвычайно интересно, – сказал он после некоторой паузы. – Незнакомец – без бороды и с косыми глазами?

– Кажется, – ответил я, – то есть, собственно, я... я... в этом уверен. Вы его знаете?

Марионеточный актер покачал головой:

– Он только напоминает мне Голема.

Художник Фрисландер опустил свой резец.

– Голем? Я уже так много слышал о нем. Вы знаете что-нибудь о Големе, Цвак?

– Кто может сказать, что он что-нибудь *знает* о Големе, – ответил Цвак, пожав плечами. – Он живет в легенде, пока на улице не начинаются события, которые снова делают его живым. Уже давно все говорят о нем, и слухи разрастаются в нечто грандиозное. Они становятся до такой степени преувеличенными и раздутыми, что в конце концов гибнут от собственной неправдоподобности. Начало истории восходит, говорят, к XVII веку. Пользуясь утерянными теперь указаниями Каббалы, один раввин сделал искусственного человека, так называемого Голема, чтобы тот помогал ему звонить в синагогальные колокола и исполнял всякую черную работу.

Однако настоящего человека из него не получилось, только смутная, полусознательная жизнь тлела в нем. Да и то, говорят, только днем, и поскольку у него во рту торчала магическая записочка, втиснутая в зубы, эта записочка стягивала к нему свободные таинственные силы вселенной.

И когда однажды перед вечерней молитвой раввин забыл вынуть у Голема изо рта талисман, тот впал в бешенство, бросился по темным улицам, уничтожая все на пути.

Пока раввин не кинулся вслед за ним и не вырвал талисмана.

Тогда создание это упало бездыханным. От него не осталось ничего, кроме небольшого глиняного чурбана, который и теперь еще показывают в Старой синагоге.

– Этот же раввин был однажды приглашен к императору во дворец, чтобы вызвать видения умерших, – вставил Прокоп. – Современные исследователи утверждают, что он пользовался для этого волшебным фонарем.

– Разумеется, нет такого нелепого объяснения, которое не находило бы одобрения у современных ученых, – невозмутимо продолжал Цвак. – Волшебный фонарь! Как будто император Рудольф, увлекавшийся всю жизнь подобными вещами, не заметил бы с первого взгляда такого грубого обмана. Я, разумеется, не знаю, на чем покоится легенда о Големе, но я совер-

шенно уверен в том, что какое-то существо, которое не может умереть, живет в этой части города и связано с ней. Из поколения в поколение жили здесь мои предки, и вряд ли у кого-либо хранится и в мозгах, и в унаследованных воспоминаниях столько периодических воскресений Голема, сколько у меня.

Цвак внезапно смолк, и все почувствовали, как его мысль погружается в прошлое.

Он сидел у стола, подперев голову, и при свете лампы его розовые, совсем молодые щеки странно дисгармонировали с его седыми волосами, и я невольно сравнивал его черты с маскообразными лицами марионеток, которые он так часто показывал нам.

Странно, как этот старик походил на них всех.

То же выражение и те же черты лица.

Есть на свете предметы, подумал я, которые не могут обойтись друг без друга. Передо мною проносится простая судьба Цвака, и мне кажется загадочным и чудовищным, что такой человек, как он, получивший лучшее воспитание, чем его предки, имевший перед собой карьеру актера, вдруг вернулся назад к плохонькому марионеточному ящику. И вот снова он таскается по ярмаркам и заставляя тех же кукол, которые доставляли скудное пропитание его предкам, выделывать жесты и показывать мертвые сцены.

Он не может расстаться с ними, подумал я, они живут его жизнью, и когда он был вдали от них, они превратились в его мысли, поселились в его мозгу, не давали ему ни отдыха, ни покоя, пока он не вернулся к ним опять. Поэтому он так любовно обращается с ними теперь и одевает их в блестящую мишуру.

– Не расскажете ли вы нам еще что-нибудь, Цвак? – попросил Прокоп старика, вопросительно посмотрев на Фрисландера и на меня, желаем ли мы того же.

– Я не знаю, с чего начать, – задумчиво сказал старик. – Историю о Големе нелегко передать. Это как Пернат говорил: знает точно, каков был незнакомец, но все же не может его описать. Приблизительно каждые тридцать три года на наших улицах повторяется событие, которое не имеет в себе ничего особенно волнующего, но которое все же распространяет ужас, не находящий ни оправдания, ни объяснения.

Неизменно каждый раз совершенно чужой человек, безбородый, с желтым лицом монгольского типа, в старинной выцветшей одежде, идет по направлению от Старосинагогальной улицы – равномерной и странно прерывистой походкой, как будто он каждую секунду готов упасть, – идет по еврейскому кварталу и вдруг становится невидим.

Обычно он сворачивает в какой-нибудь переулок и исчезает.

Одни говорят, что он описывает круг и возвращается к тому месту, откуда вышел: к одному старенькому дому возле синагоги.

Другие с перепуга утверждают, что видели его идущим из-за угла. Он совершенно ясно шел им навстречу и тем не менее становился все меньше и меньше и, наконец, совершенно исчезал, как исчезают люди, теряясь вдали.

Шестьдесят шесть лет тому назад впечатление, вызванное им, было, по-видимому, особенно глубоко, потому что помню – я был тогда еще совсем мальчиком, – как сверху донизу обыскали тогда здание на Старосинагогальной улице.

И было твердо установлено, что в этом доме действительно существует комната с решетчатыми окнами, без всякого выхода.

На всех окнах повесили белье, чтобы сделать это очевидным с улицы. Этим все дело и было обнаружено.

Так как пробраться в нее было никак нельзя, один человек спустился по веревке с крыши, чтобы заглянуть туда. Однако, едва он достиг окна, канат оборвался, и несчастный, упав, разбился о мостовую. И когда впоследствии повторили попытку, то мнения об этом окне так разошлись, что о нем перестали говорить.

Я лично встретил Голема первый раз в жизни приблизительно тридцать три года тому назад.

Он встретился мне под воротами, и мы почти коснулись друг друга.

Я и теперь еще не могу постичь, что произошло тогда со мной. Ведь не несет же в себе человек постоянно, изо дня в день, ожидание встретиться с Големом.

Но в тот момент, прежде чем я мог заметить его, что-то во мне явственно вскрикнуло: Голем! И в то же мгновение кто-то мелькнул из темноты ворот и прошел мимо меня. Спустя секунду меня окружила толпа бледных возбужденных лиц, которые осыпали меня вопросами, не видал ли я его.

И когда я им отвечал, я чувствовал, что мой язык освобождается от какого-то оцепенения, которого раньше я не ощущал.

Я был форменным образом поражен тем, что могу двигаться, и для меня стало совершенно ясно, что хотя бы самый короткий промежуток времени – на момент одного удара сердца – я находился в столбняке.

Обо всем этом я впоследствии много и долго думал, и кажется мне, я подойду всего ближе к истине, если скажу: в жизни каждого поколения через еврейский квартал с быстротой молнии проходит однажды психическая эпидемия, устремляет души к какой-то непостижимой цели, создает мираж, облик какого-то своеобразного существа, которое жило здесь много сотен лет тому назад и теперь стремится к новому воплощению.

Может быть, оно всегда с нами, и мы не воспринимаем его. Ведь не слышим же мы звука камертона, прежде чем он не коснется дерева и не вызовет вибрации.

Может быть, это нечто вроде какого-то душевного порождения без участия сознания – порождения, возникающего наподобие кристалла по вечным законам из бесформенной массы.

Кто знает?

В душевные дни электрическое напряжение достигает последних пределов и рождает наконец молнию – может быть, постоянное накопление неизменных мыслей, отравляющих воздух гетто, тоже приводит к внезапному разряжению – душевному взрыву, бросающему наше сонное сознание к свету дня, чтобы проявиться то молнией в природе, то призраком, который своим обличьем, походкой и видом обнаруживает в каждом символ массовой души, если только верно истолковать тайный язык внешних форм.

И подобно тому, как некоторые явления предвещают удар молнии, так и здесь определенные страшные предзнаменования говорят заранее о грозном вторжении фантома в реальный мир. Отвалившаяся штукатурка старой стены принимает образ шагающего человека, и снежные узоры на окне принимают вид застывших лиц. Песок с крыши кажется падающим не так, как он падает всегда, и будит у подозрительного наблюдателя предположение, что невидимый и скрывающийся от света разумный дух сбрасывает его вниз и тешится в тайных попытках вызывать разные странные фигуры. Смотрит глаз на однотонное строение или на неровности кожи, и вдруг нами овладевает невеселый дар повсюду видеть грозящие знаменательные формы, принимающие в наших сновидениях чудовищные размеры. Сквозь все эти призрачные попытки мысленных скоплений, проникая через стены будничной жизни, тянется красной нитью мучительное сознание, что наша внутренняя сущность преднамеренно и против нашей воли кем-то высасывается, чтобы сделать пластичным образ фантома.

Когда я слышал рассказ Перната о том, что ему повстречался человек без бороды и с косо поставленными глазами, передо мной предстал Голем таким, каким я его тогда видел.

Как выросший из земли, стоял он предо мною.

И какой-то смутный страх овладевает мною на мгновение: вот-вот явится что-то необъяснимое, тот самый страх, что испытал я когда-то в детстве, когда первое призрачное очертание Голема бросило свою тень. Это было шестьдесят шесть лет тому назад и сливается с вечером, когда пришел в гости жених моей сестры и мы все должны были назначить день сва-

дъбы. Мы тогда лили олово, играя. Я стоял с открытым ртом и не понимал, что это означает. В моем беспорядочном детском воображении я приводил это в связь с Големом, о котором мне дедушка часто рассказывал, и мне все казалось, что ежесекундно должна открыться дверь и незнакомец должен войти.

Сестра вылила ложку расплавленного олова в сосуд с водой, весело посмеиваясь моему явному возбуждению.

Морщинистыми, дрожащими руками дед вынул блестящий обрывок олова и поднес к свету. Сейчас же возникло всеобщее волнение. Все сразу заговорили, громко; я хотел протиснуться вперед, но меня оттолкнули.

Впоследствии, когда я стал старше, отец рассказывал мне, что расплавленный кусок металла застыл в виде маленькой, совершенно отчетливой головки – гладкой и круглой, точно вылитой по модели и до такой степени схожей с чертами Голема, что все испугались.

Я часто беседовал с архивариусом Шемаей Гиллелем, который хранит реликвии Старо-новой синагоги, в том числе и некий глиняный чурбан времен императора Рудольфа. Гиллель занимался Каббалой и думает, что эта глыба земли с членами человеческого тела, может быть, не что иное, как древнее предзнаменование, совсем как свинцовая головка в рассказанном случае. А незнакомец, который тут бродит, вернее всего представляет собою фантастический или мысленный образ, который средневековый раввин оживил своею мыслью раньше, чем он мог облечь его плотью. И вот, через правильные промежутки времени, при тех же гороскопах, при которых он был создан, Голем возвращается, мучимый жаждой материальной жизни.

Покойная жена Гиллеля тоже видела Голема лицом к лицу и почувствовала, подобно мне, что была в оцепенении, пока это загадочное существо держалось вблизи.

Она была вполне уверена в том, что это могла быть только ее собственная душа. Выйдя из тела, она стала на мгновение против нее и обликом чужого существа заглянула ей в лицо.

Несмотря на отчаянный ужас, овладевший ею тогда, она ни на секунду не потеряла уверенности в том, что тот другой мог быть только частицей ее собственного духа.

– Невероятно, – пробормотал Прокоп, глубоко задумавшись. Художник Фрисландер казался тоже погруженным в размышление.

Постучались в дверь, и старуха, приносящая мне вечером воду и прислуживающая мне вообще, вошла, поставила глиняный кувшин на пол и молча вышла.

Мы все взглянули на нее и, как бы проснувшись, осмотрелись, но еще долго никто не произносил ни слова.

Как будто вместе со старушкой в комнату проникло что-то новое, к чему нужно было еще привыкнуть.

– Да! У рыжей Розины тоже личико, от которого не скоро освободишься; из всех уголков и закоулков оно все появляется перед вами, – вдруг заметил Цвак, без всякого повода. – Эту застывшую наглую улыбку я знаю всю жизнь. Сперва бабушка, потом мамаша!.. И все то же лицо... Никакой иной черточки! Все то же имя Розина... Все это воскресение одной Розины за другой...

– Разве Розина не дочь старьевщика Аарона Вассертрума? – спросил я.

– Так говорят, – ответил Цвак, – но у Аарона Вассертрума не один сын и не одна дочь, о которых никто ничего не знает. Относительно Розининой матери тоже не знали, кто ее отец и даже что с ней стало. Пятнадцати лет она родила ребенка, и с тех пор ее не видали. Ее исчезновение, насколько я могу припомнить, связывали с одним убийством, происшедшим из-за нее в этом доме.

Она кружила тогда, как нынче ее дочь, головы подросткам. Один из них еще жив, – я встречаю его часто, – не помню только имени. Другие вскоре умерли, и я думаю, что это она свела их преждевременно в могилу. Вообще, из того времени я припоминаю только отдельные

эпизоды, которые бледными образами живут в моей памяти. Был тогда здесь один полупомешанный. Он ходил по ночам из кабака в кабак и за пару крейцеров вырезывал гостям силуэты из черной бумаги. А когда его напивали, он впадал в невыразимую тоску и со слезами и рыданиями вырезывал, не переставая, все один и тот же острый девичий профиль, пока не кончался весь запас его бумаги.

Я уже забыл теперь, из чего тогда заключали, что он еще почти ребенком так сильно любил какую-то Розину, – очевидно, бабушку этой Розины, – что потерял рассудок.

Соображая годы, я вижу, что это не кто иная, как бабушка нашей Розины.

Цвак замолчал и откинулся назад.

Судьба в этом доме идет по кругу и всегда возвращается к той же точке, пробежало у меня в голове, и одновременно перед моим взором возникла отвратительная картина, когда-то мною виденная: кошка с вырезанной половиной мозга кружится по земле.

– Теперь – голова! – услышал я вдруг громкий голос художника Фрисландера.

Он вынул из кармана круглый кусок дерева и начал вытачивать.

Тяжелая усталость смыкала мои глаза, и я отодвинул свой стул в темную глубину комнаты.

Вода для пунша кипела в котле, и Иосуа Прокоп снова наполнил стаканы. Тихо, тихо доносились звуки музыки через закрытое окно. Иногда они совсем замирали, затем снова ожидали – смотря по тому, заносил ли их к нам ветер с улицы или терял по дороге.

Не хочу ли я с ним чокнуться, спросил меня через минуту музыкант. Я ничего не ответил. У меня настолько исчезло желание двигаться, что мне не пришло даже в голову шевельнуть губами.

Мне казалось, что я сплю, так крепок был внутренний покой, овладевший мной. И я должен был шуриться на блестящий ножик Фрисландера, без устали отрезавший от дерева маленькие кусочки, чтоб удостовериться в том, что я бодрствую.

Далеко где-то гудел голос Цвака и продолжал рассказывать разные странные истории про марионеток и пестрые сказки, которые он придумывал для своих кукольных представлений.

Шла речь и о докторе Савиоли и о знатной даме, жене одного аристократа, которая тайно приходит в ателье в гости к Савиоли.

И снова я мысленно увидел издевающуюся, торжествующую физиономию Аарона Вассертрума.

Не поделиться ли с Цваком тем, подумал было я, что тогда произошло. Но мне показалось это незначительным и не стоящим труда. Да я и знал, что у меня пропадет охота при первой же попытке заговорить.

Вдруг все трое у стола внимательно посмотрели на меня, и Прокоп громко сказал: «Он заснул». Сказал он это так громко, что это прозвучало почти как вопрос.

Они продолжали разговаривать, понизив голос, и я понял, что речь идет обо мне.

Нож Фрисландера плясал в его руках, ловил свет от лампы и бросал блестящее отражение мне в глаза.

Мне послышалось слово: «сойти с ума», – и я стал прислушиваться к продолжавшейся беседе.

– Таких вопросов, как Голем, при Пернате не следует касаться, – сказал с упреком Иосуа Прокоп. – Когда он раньше рассказывал о книге «Ibbug», мы молчали и ни о чем не спрашивали – держу пари, что это ему все приснилось.

Цвак кивнул головой.

– Вы совершенно правы. Это – как если зайти с огнем в запыленную комнату, где потолок и стены увешаны истлевшими коврами, а пол по колено покрыт трухой прошлого. Стоит коснуться чего-нибудь, и все в огне.

– Долго ли Пернат был в сумасшедшем доме? Жаль его, ведь ему еще не более сорока лет, – сказал Фрисландер.

– Не знаю, я не имею никакого представления, откуда он родом и чем он занимался раньше; внешностью, стройной фигурой и острой бородкой он напоминает старого французского аристократа. Много, много лет тому назад один мой приятель, старый врач, просил меня, чтоб я принял некоторое участие в Пернате и подыскал ему небольшую квартиру на этих улицах, где никто не будет тревожить его и беспокоить расспросами о прошлом... – Цвак снова бросил на меня тревожный взгляд.

– С тех пор он и живет здесь, реставрирует старинные предметы и вырезывает камеи. Это его недурно устраивает.

– Его счастье, что он, по-видимому, забыл все то, что связано с его сумасшествием. Только, ради бога, никогда не спрашивайте его ни о чем, что могло бы разбудить в нем воспоминания о прошлом. Об этом неоднократно просил меня старый доктор! «Знаете, Цвак, – говорил он мне всегда, – у нас особый метод... мы с большим трудом, так сказать, замуровали его болезнь, хотел бы я так выразиться, как обводят забором злополучные места, с которыми связаны печальные воспоминания».

Слова марионеточного актера ударили меня, как нож ударяет беззащитное животное, и сжали мне сердце грубым, жестоким хватом.

Уже давно грызла меня какая-то неопределенная боль, какое-то подозрение, как будто что-то отнято у меня, как будто длинную часть моего жизненного пути я прошел, как лунатик, по краю бездны. И никогда не удавалось мне доискаться причины этой боли.

Теперь задача была разрешена, и это решение жгло меня невыносимо, как открытая рана.

Мое болезненное нежелание предаваться воспоминаниям о прошлых событиях, странный, время от времени повторяющийся сон, будто я блуждаю по дому с рядом недоступных мне комнат, тревожный *отпор моей памяти во всем, что касается моей юности*, – всему этому вдруг нашлось страшное объяснение: я был сумасшедшим, меня загипнотизировали, заперли комнату, находившуюся в связи с покоями, созданными моим воображением, сделали меня безродным сиротой среди окружающей жизни.

Никаких надежд вернуть обратно утерянные воспоминания.

Пружины, приводящие в движение мои мысли и поступки, скрыты в каком-то ином, забытом бытии, понял я, никогда я не смогу узнать их: я – срезанное растение, побег, который растет из чужого корня. Да если бы мне и удалось добраться до входа в эту закрытую комнату, не попал ли бы я в руки призракам, которые заперты в ней.

История о Големе, только что рассказанная Цваком, пронеслась в моем уме, и я внезапно ощутил какую-то огромную, таинственную связь между легендарной комнатой без входа, в которой будто бы живет этот незнакомец, и моим многозначительным сном. Да, и у меня «оборвется веревка», если я попытаюсь заглянуть в закрытые решеткой окна моих глубин.

Странная связь становилась для меня все яснее и яснее и заключала в себе нечто невыразимо пугающее.

Я чувствовал здесь явления непостижимые, привязанные друг к другу и бегущие, как слепые лошади, которые не знают, куда ведет их путь.

То же и в гетто: комната, пространство, куда никто не может найти входа, – загадочное существо, которое живет там и только изредка пробирается по улицам, наводя страх и ужас на людей.

Фрисландер все еще возился с головкой, и дерево скрипело под острым ножом.

Мне было больно слышать это, и я взглянул, скоро ли уже конец.

Головка поворачивалась в руках художника во все стороны, и казалось, что она обладает сознанием и ищет чего-то по всем углам. Затем ее глаза надолго остановились на мне, – довольные тем, что наконец нашли меня.

Я, в свою очередь, не мог уже отвести глаз и, не мигая, смотрел на деревянное лицо.

На одну секунду нож художника остановился в поисках чего-то, потом решительно провел одну линию, и вдруг деревянная голова странным образом ожила.

Я узнал желтое лицо незнакомца, который приносил мне книгу.

Больше я ничего не мог различить, видение продолжалось только одну секунду, но я почувствовал, что мое сердце перестает биться и робко трепещет.

Но лицо это, как и тогда, запечатлелось во мне.

Я сам обратился в него, лежал на коленях Фрисландера и озирался кругом. Мои взоры блуждали по комнате, и чужая рука касалась моей головы. Затем я вдруг увидел возбужденное лицо Цвака и услышал его слова: «Господи, да ведь это Голем!»

Произошла короткая борьба, у Фрисландера хотели отнять силой фигурку, но он оборонялся и смеясь закричал:

– Чего вы хотите, – она мне совсем не удалась. – Он вырвался, открыл окно и швырнул фигурку на улицу.

Тут я потерял сознание и погрузился в глубокую тьму, пронизанную золотыми блестящими нитями. И когда я, после долгого, как мне показалось, промежутка времени, очнулся, только тогда я услышал стук дерева о мостовую.

– Вы так крепко спали, что не чувствовали, как мы трясли вас, – сказал мне Иосуа Проккоп, – пунш кончен, и вы все прозевали.

Жгучая боль, причиненная всем, что я слышал, овладела мною опять, и я хотел крикнуть, что мне вовсе не снилось то, что я рассказал им о книге «Ibbur», что я могу вынуть ее из шкапулки и показать им.

Но эти мысли не воплотились в слова и не повлияли на настроение гостей, готовых уже разойтись.

Цвак сунул мне насильно пальто и сказал, смеясь:

– Идемте с нами к Лойзичек, майстер Пернат, это вас освежит.

VI. Ночь

Цвак помимо моей воли свел меня с лестницы.

Я чувствовал, как запах тумана, который проникал с улицы в дом, становился все сильнее и сильнее. Иосуа Прокоп и Фрисландер ушли на несколько шагов вперед, и слышно было, как они разговаривали у ворот.

«Она, очевидно, прямо в водосток попала. Что за чертовщина!» Мы вышли на улицу, и я видел, как Прокоп нагнулся и искал марионетку. «Я очень рад, что ты не можешь найти этой глупой головы», – ворчал Фрисландер. Он прислонился к стене, и лицо его то ярко освещалось, то скрывалось через короткие промежутки времени, когда он затягивался из своей трубки.

Прокоп сделал быстрое предупреждающее движение рукой и согнулся еще ниже. Он почти опустился на колени на мостовую.

– Тише! Вы ничего не слышите?

Мы подошли к нему. Он молча указал на решетку водостока и, насторожившись, приложил руку к уху. Минуту мы все неподвижно стояли и прислушивались.

Ничего.

– Что это было? – прошептал, наконец, старый марионеточный актер, но Прокоп быстро схватил его за руку.

Одно мгновение – миг сердцебиения – мне казалось, что там внизу чья-то рука ударила по железному листу – едва слышно.

Когда я подумал об этом спустя секунду, все уже прошло, только в моей груди звучало еще эхо и медленно расплывалось в неопределенное чувство страха.

Шаги, послышавшиеся по улице, рассеяли впечатление.

– Идемте же, – чего тут стоять, – сказал Фрисландер.

Мы пошли вдоль ряда домов.

Прокоп нехотя пошел за нами.

– Я готов голову дать на отсечение, что там раздался чей-то предсмертный крик.

Никто из нас не ответил ему, но я почувствовал, что какой-то темный страх сковал нам язык.

Через некоторое время мы стояли перед окном кабачка с красными занавесками.

САЛОН ЛОЙЗИЧЕК

Севодни большой Канцерт

Это было начертано на картоне, покрытом выцветшими женскими портретами.

Не успел еще Цвак дотронуться до ручки двери, как она отворилась внутрь и дюжий парень, с напوماженными черными волосами, без воротничка, с зеленым шелковым галстуком на голой шее, в жилетке, украшенной связкой свиных зубов, встретил нас поклоном.

– Да, да – вот это гости... Пане Шафранек живо – туш! – приветствовал он нас, оборачиваясь в переполненный зал.

Дребезжащий звук – точно по фортепианным струнам пробежала крыса – послышался в ответ.

– Да, да, вот это гости, вот это гости, это видно сразу, – все бормотал толстяк, придерживая нас за рукава. – Да, да, сегодня вся здешняя аристократия собралась у меня, – торжественно отвечал он на удивленное выражение Фрисландера. В глубине кабака, на чем-то вроде эстрады, отделенной перилами и лесенкой в две ступеньки от публики, мелькнули два приличных молодых человека во фраках.

Клубы едкого табачного дыма висели над столами, позади которых длинные деревянные скамейки вдоль стен были заняты разными оборвышами: тут были проститутки, нечесанные, грязные, босые, с упругими грудями, едва прикрытыми безобразного цвета платками; рядом с ними сутенеры в синих солдатских фуражках, с сигарой за ухом; торговцы скотом с волосатыми кулаками и неуклюжими пальцами, у которых каждое движение изобличало их вульгарную низость; разгульные кельнеры с нахальными глазами, прыщеватые приказчики в клетчатых брюках.

– Я поставлю кругом испанские ширмы, чтобы вам никто не мешал, – проскрипел жирный голос толстяка, и тотчас же возле углового столика, за которым мы уселись, появились ширмы, оклеенные маленькими танцующими китайцами.

При резких звуках арфы шум в комнате стих. На секунду воцарилась ритмическая пауза.

Мертвая тишина, точно все затаили дыхание. До жути ясно стало слышно, как железные газовые рожки с шипением изрыгали из своих уст плоские сердцеподобные огни... но музыка вновь нахлынула на этот шум и заглушила его.

Неожиданно из табачного дыма выросли передо мной две странные фигуры.

С длинной выющейся седой бородой пророка, в черной шелковой ермолке, типа тех, что носят старые еврейские патриархи, на лысой голове, со слепыми молочно-синего цвета стеклянными глазами, неподвижно устремленными к потолку, – сидел там старик, безмолвно шевелил губами и жесткими пальцами, точно когтями ястреба, перебирал струны арфы. Рядом с ним, в лоснящемся от жира черном платье из тафты, с разными блестками и крестиками на груди и на руках, воплощенный образ лицемерной мещанской морали, – рыхлая женщина с гармоникой на коленях.

Дикие звуки вырывались из инструментов, затем мелодия стихла, став простым аккомпанементом.

Старик несколько раз глотнул воздух, раскрыл рот так широко, что можно было видеть черные корни зубов. Медленно, сопровождаемый своеобразным еврейским хрипом, выполз из груди его дикий бас.

«Кру-у-глые си-ни-е звезды...»

«Ри-ти-тит», – пищала в это время женская фигура, сжимая затем немедленно губы, как если бы она проговорила.

«Круглые синие звезды, Пряники очень люблю...»

«Ри-ти-тит».

«Красная, синяя борода, Разные звезды...»

«Рити-ти-тит».

Начались танцы.

– Это песенка о «хомециген борху»¹, – объяснил нам с улыбкой кукольный актер, тихо отбивая такт оловянной ложкой, которая зачем-то была приделана на цепочке к столу. – Лет сто тому назад, а может быть и больше, два подмастерья-булочника: Красная борода и Зеленая борода – вечером в «шабес-гагодел»² отравили хлеб-звезды и пряники, – чтобы вызвать всеобщую гибель в еврейском городе, но «мешорес» – служка общины, каким-то божественным прозрением, своевременно узнал об этом и передал обоих преступников в руки властей. В память чудесного избавления от смертной опасности и сочинили тогда «ламдоним» и «бохерлах»³ странную песенку, которую мы здесь слышим под аккомпанемент кабацкой кадрили, «Ри-ти-тит-Ри-ти-тит».

«Круглые синие звезды...» – все глуше и фанатичнее раздавалось завывание старика.

¹ Молитва в случае нечаянного употребления недозволенной пищи «хомеца» в Пасху.

² «Великая суббота», последняя суббота перед Пасхой.

³ «Ламдоним» – ученые, «бохерлах» – мальчики, отроки, обучающиеся Священному Писанию.

Вдруг мелодия, смешавшись, перешла постепенно в ритм чешского «шлопака» – медлительного и замирающего танца, во время которого парочки крепко прижимались друг к другу потными щеками.

– Отлично. Bravo. Хватай! Лови, гоп! – крикнул арфисту с эстрады стройный молодой человек во фраке, с моноклем в глазу, полез в карман жилетки и бросил серебряную монету. Но не попал в цель: я видел, как она сверкнула над танцующими и вдруг исчезла. Какой-то босяк – его лицо показалось мне очень знакомым, кажется, это был тот самый, который недавно во время дождя стоял возле Харусека, – вытащил руку из-под передника своей партнерши, где все время держал ее, – один взмах в воздухе, – с обезьяньей ловкостью, без пропуска единого такта музыки, и монета была поймана. Ни один мускул не дрогнул на лице парня, только две-три ближайšie пары тихо усмехнулись.

– Вероятно, из *батальона*, судя по ловкости, – смеясь, заметил Цвак.

– Майстер Пернат, наверное, еще никогда не слышал о батальоне, – быстро подхватил Фрисландер и незаметно подмигнул марионеточному актеру. Я отлично понял: это было то же самое, что раньше, наверху в моей комнате. Они считали меня больным. Хотели меня развлечь. И Цвак должен был что-нибудь рассказывать. Что бы то ни было.

Добрый старик так сострадательно посмотрел на меня, что у меня кровь бросилась в голову. Если бы он знал, как мне больно от его сострадания!

Я не расслышал первых слов, которыми марионеточный актер начал свой рассказ, – знаю только, что мне казалось, будто я медленно истекаю кровью. Мне становилось все холоднее. Я застывал. Совсем как тогда, когда я лежал на коленях у Фрисландера со своим деревянным лицом. Потом вдруг я очутился среди рассказа, который странно опутывал меня, как безжизненный отрывок из хрестоматии.

Цвак начал:

– Рассказ об ученом юристе Гульберте и его «батальоне».

Ну, что мне вам сказать? Лицо у него было все в прыщах, ноги кривые, как у таксы. Уже юношей он не знал ничего, кроме науки. Сухой, изможденный. На тот скудный заработок, который он имел от уроков, он должен был содержать свою больную мать. Какой вид имеют зеленые луга и кусты, холмы, покрытые цветами, леса – все это узнал он только из книг. А как мало солнечного света на черных улицах Праги, вы сами знаете.

Свою докторскую диссертацию он защитил блестяще – это само собой разумеется.

Ну, а с течением времени он стал знаменитым юристом. Таким знаменитым, что все судьи и старые адвокаты обращались к нему, когда чего-либо не понимали. Он, однако, продолжал жить, как нищий, в мансарде, окно которой выходило на грязный двор. Так шел год за годом, и слава доктора Гульберта как светила науки разлилась по всей стране. Никто не поверил бы, что такой человек, как он, может порой оказаться доступным для мягких сердечных порывов, тем более что он уже начинал сесть, и никто не мог вспомнить, чтоб он когда-либо говорил о чем-нибудь, кроме юридических наук. Но именно в таких замкнутых сердцах живет особенно пламенная тоска.

В тот день, когда доктор Гульберт достиг цели, которая ему еще в студенческие годы казалась высочайшей, когда его величество император австрийский назначил его ректором нашего университета, – в тот самый день пронесся слух, что он обручился с одной молодой и необычайно красивой девушкой из бедной, правда, но аристократической семьи.

И действительно, казалось, что счастье свалилось на доктора Гульберта. Правда, брак его оказался бездетным, но он носил свою молодую жену на руках. Величайшей радостью его было исполнять малейшее желание, которое он прочитывал в ее взоре.

Но в своем счастье он ни в малейшей степени не забыл, как это обычно бывает с другими, о страждущих ближних. «Бог утешил мою тоску, – будто сказал он однажды. – Он обратил в

действительность образ, который с раннего детства мне преподносился. Он дал мне прекраснейшее из земных существ. И я хочу, чтобы отблеск моего счастья, поскольку это в моих силах, падал и на других...»

Вот почему он принял такое горячее участие в судьбе одного бедного студента, как если бы тот был его сыном. Вероятно, ему приходила в голову мысль, как хорошо было бы, если бы кто-нибудь поступил так с ним во дни его тяжелой юности. Но на земле часто поступок хороший и честный ведет к таким же последствиям, как и самый дурной, потому что мы, люди, не умеем отличать ядовитого семени от здорового. Так случилось и на этот раз: вызванный состраданием поступок доктора Гульберта причинил ему самому горе.

Молодая жена очень быстро воспылала тайной любовью к студенту, и безжалостной судьбе было угодно, чтобы ректор, как раз в тот момент, когда он, неожиданно вернувшись домой, хотел порадовать жену букетом роз, подарком к именинам, застал ее в объятиях того, кого он столь щедро осыпал своими благодеяниями.

Говорят, что голубой василек может навсегда потерять свой цвет, если на него упадет тускло-желтый, серый отблеск молнии. Вот так навсегда ослепла душа старика в тот день, когда вдребезги разлетелось его счастье. Уже в тот вечер он, который никогда ни в чем не знал излишества, просидел здесь у Лойзичек, потеряв сознание от водки, до рассвета. И Лойзичек стал его пристанищем до конца его разбитой жизни. Летом он спал на щепе у какой-нибудь постройки, зимой же – на деревянной скамейке.

Звание профессора и доктора обоих прав за ним молчаливо сохранилось.

Ни у кого не хватало мужества бросить ему, еще недавно знаменитому ученому, упрек в его возбуждающем всеобщее огорчение образе жизни.

Мало-помалу вокруг него собрался весь темный люд еврейского квартала, и так возникло странное сообщество, которое еще до сих пор называется *батальоном*.

Всеобъемлющее знание законов, которым обладал доктор Гульберт, стало оградой для всех, на кого полиция слишком внимательно посматривала. Умирал ли с голода какой-нибудь выпущенный арестант, доктор Гульберт высылал его совершенно голым на Старогородской проспект, – и правление так называемого Фишбанка оказывалось вынужденным заказать ему костюм. Подлежала ли высылке из города бездомная проститутка, он немедленно венчал ее с босяком, приписанным к округу, и делал ее таким образом оседлой.

Сотни таких обходов знал доктор Гульберт, и с его заступничеством полиция бороться не могла. Все, что эти отбросы человеческого общества «зарабатывали», они честно, до последней полушки, сдавали в общую кассу, которая обслуживала все их жизненные потребности. Никто не попадался даже и в ничтожной нечестности. Может быть, именно из-за этой железной дисциплины и сложилось наименование *батальон*.

Каждое первое декабря ночью – годовщина несчастья, постигшего старика, – у Лойзичек происходило оригинальное празднество. Сюда набивалась толпа попрошайек, бродяг, сутенеров, уличных девок, пьяниц, проходимцев. Царствовала невозмутимая тишина, как при богослужении, – доктор Гульберт помещался в том углу, где сейчас сидят музыканты, как раз под портретом его величества императора, и рассказывал историю своей жизни: как он выдвинулся, как стал доктором, а потом ректором. Как только он подходил к тому моменту, когда он вошел в комнату молодой жены, с букетом роз в честь дня ее рождения и в память о том часе, в который он пришел к ней сделать предложение, и она стала его возлюбленной невестой, – голос его обрывался. В рыданиях склонялся он над столом. Часто случалось, что какая-нибудь распутная девка стыдливо и осторожно, чтобы никто не заметил, вкладывала ему в руку полуувядший цветок.

Слушатели долго не шевелились. Плакать этим людям непривычно. Они только опускают глаза и неуверенно перебирают пальцами.

Однажды утром нашли доктора Гульберта мертвым на скамейке внизу у Молдавы. Повидимому, он замерз.

Его похороны и сейчас стоят перед моим взором. *Батальон* из кожи лез, чтобы все было возможно торжественнее.

Впереди в парадной форме шел университетский педель; в руках у него была пурпурная подушечка с золотой цепью, а за катафалком необозримые ряды... *батальон*, босый, грязный, оборванный и ободранный. Многие продали последние свои тряпки и шли, покрыв тело, руки и ноги обрывками старых газет.

Так оказали они ему последнюю почесть.

На его могиле стоит белый камень с тремя высеченными фигурами: «Спаситель, распятый между двумя разбойниками». Памятник воздвигнут неизвестно кем. Говорят, его поставила жена доктора Гульберта.

В завещании покойного юриста был пункт, согласно которому все члены *батальона* получали у Лойзичек бесплатно тарелку супу. Для этого-то здесь приделаны на цепочках к столу ложки, а углубления в столе заменяют тарелки. В двенадцать часов является кельнерша с большим жестяным насосом, наливает туда суп, и если кто-нибудь оказывается не в состоянии доказать свою принадлежность к *батальону*, она тем же насосом выкачивает обратно жидкость.

Обычай этого стола вошел в поговорку и распространился по всему миру.

Поднявшийся в зале шум вывел меня из летаргии. Последние фразы, произнесенные Цваком, еще заполняли мое сознание. Я еще видел, как он разводил руками, чтобы пояснить, как насос ходил взад и вперед. Затем возникавшие вокруг нас картины стали мелькать с такой быстротой и автоматичностью и при всем том с такой неестественной отчетливостью, что я мгновениями забывал самого себя и чувствовал себя каким-то колесиком в живом часовом механизме.

Комната превратилась в сплошное человеческое месиво. Наверху, на эстраде, обычные господа в черных фраках. Белые манжеты, сверкающие кольца. Драгунский мундир с аксельбантами ротмистра. В глубине дамская шляпа со страусовым пером цвета лососины.

Сквозь решетку барьера смотрело искаженное лицо Лойзы. Я видел: он едва держался на ногах. Был тут и Яромир, он неподвижно смотрел вверх, совсем тесно прижавшись к боковой стене, как бы притиснутый туда невидимой рукой.

Танец вдруг оборвался: очевидно, хозяин крикнул что-то такое, что испугало всех. Музыка продолжала играть, но тихо, как бы неуверенно. Она дрожала – это ясно чувствовалось. А на лице у хозяина все же было выражение коварной, дикой радости... У входной двери стоит полицейский комиссар в форме. Он загородил руками выход, чтобы никого не выпустить. За ним – агент уголовного розыска.

– Здесь все-таки танцуют! Несмотря на запрещение. Я закрываю этот притон. Ступайте за мной, хозяин. Все прочие, марш в участок.

Слова звучат командой.

Дюжий парень не отвечает, но коварная гримаса не сходит с его лица.

Она кажется застывшей.

Гармоника поперхнулась и едва посвистывает.

Арфа тоже поджала хвост.

Лица все вдруг видны в профиль: они с ожиданием всматриваются в эстраду.

Аристократическая черная фигура спокойно сходит с лесенки и медленно направляется к комиссару.

Взоры агента прикованы к блестящим лаковым ботинкам приближающегося.

Последний останавливается на расстоянии одного шага от полицейского и обводит его скучающим взором с головы до ног, потом с ног до головы.

Остальные господа на эстраде, перегнувшись через перила, стараются задушить свой смех серыми шелковыми носовыми платками.

Драгунский ротмистр вставляет золотую монету в глаз и выплевывает окурок в волосы девушки, стоящей внизу.

Полицейский комиссар изменился в лице и, не отводя глаз, смущенно смотрит на жемчужину на манишке аристократа.

Он не может вынести хладнокровного тусклого взгляда этого бритого неподвижного лица с крючковатым носом.

Оно выводит его из себя, подавляет его.

Мертвая тишина в зале становится все мучительнее.

– Так смотрят статуи рыцарей, что лежат со сложенными руками на каменных гробах в готических церквях, – шепчет художник Фрисландер, кивая в сторону кавалера.

Наконец, аристократ нарушает молчание:

– Э... Гм... – Он подделывается под голос хозяина: – Да, да, вот это гости, это видно. – По залу проносится оглушительный взрыв хохота, стаканы дребезжат, босяки хватаются за живот от смеха. Бутылка летит в стену и разбивается вдребезги. Толстый хозяин почтительно шепчет нам, поясняя: «Его светлость, князь Ферри Атенштедт».

Князь подал полицейскому визитную карточку. Несчастный берет ее, отдает честь и щелкает каблуками.

Снова становится тихо. Толпа ждет, затаив дыхание, что будет дальше.

Князь опять говорит:

– Дамы и господа, которых вы здесь видите... эээ... это мои милые гости. – Его светлость небрежным жестом указывает на весь сброд. – Не разрешите ли, господин комиссар... эээ... представить вас.

С вынужденной улыбкой комиссар отказывается, что-то бормочет... что, «к сожалению, обязанность службы», и наконец, оправившись, добавляет:

– Я вижу, здесь все в порядке.

Это вызывает к жизни драгунского ротмистра. Он бросается к дамской шляпе со страховым пером и в ближайшее мгновение, при торжественном одобрении аристократической молодежи, выводит... Розину в зал.

Она так пьяна, что едва стоит на ногах, глаза ее закрыты. Большая дорогая шляпа сидит криво. На ней нет ничего, кроме розовых чулок и мужского фрака, надетого на голое тело.

Сигнал: музыка, обезумев, начинает...

...Ри-ти-тит, Ри-ти-тит...

и смыкает гортанный крик, вырвавшийся у глухонемого Яромира, когда он увидел Розину.

Мы собираемся уходить.

Цвак зовет кельнершу.

Общий шум заглушает его слова.

Картины, мелькающие передо мной, становятся фантастическими, как в чаду опиума.

Ротмистр обнял полуголую Розину и медленно в такт кружится с ней.

Толпа почтительно расступается.

Затем раздается шепот со скамеек: «Лойзичек, Лойзичек». Шеи вытягиваются, и к танцующей паре присоединяется еще одна, еще более странная. Похожий на женщину юноша, в розовом трико, с длинными светлыми волосами до плеч, с губами и щеками, нарумяненными, как у проститутки, опустив в кокетливом смущении глаза, – прижимается к груди князя Атенштедта.

Арфа струит слащавый вальс.

Дикое отвращение к жизни сжимает мне горло.

В ужасе глаза мои ищут дверь. Там, отвернувшись, чтоб ничего не видеть, стоит комиссар и что-то быстро шепчет агенту, который прячет какой-то предмет. Слышится звон ручных кандалов.

Оба пристально смотрят на рябого Лойзу, который на один миг обнаруживает намерение спрятаться, но потом, оцепенев, с лицом блее извести и перекосившимся от страха, остается на месте.

Один образ вспыхивает в моем воспоминании и тотчас потухает: картина, которую я видел час тому назад. Прокоп прислушивается, перегнувшись через решетку водостока, а из земли раздается предсмертный крик.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.